

Алина Веснина

A romantic family scene at night. A man in a black suit and a woman in a white blouse and grey skirt stand close together, looking at each other. A young boy in a beige sweater holds a glowing paper lantern. They are in front of a city skyline at night, with a building labeled 'ДЕТСКИЙ ЦЕНТР' (Children's Center) visible in the background. The scene is filled with warm, golden light and bokeh effects.

Тайный наследник
миллиардера

Алина Веснина

Тайный наследник миллиардера

<https://litres.ru/74195664>

SelfPub; 2026

Аннотация

Четыре года назад младший бухгалтер Надя Орлова ушла из фонда Громовых с картонной коробкой и чужой подписью под собственным позором. Она увезла в другой город разбитое сердце — и тайну: сына, о котором его отец так и не узнал.

Теперь у неё детский центр «Светлячок» и мальчик Саша, который верит, что папа далеко считает звёзды. И грант, ради которого нужно подписать договор с фондом. Вручать чек приезжает тот самый Глеб Громов: младший, «запасной», холодный, — тот, кто когда-то подписал её изгнание не глядя.

По условию гранта — никаких личных отношений с попечителем. Вот только их сын хмурит лоб точь-в-точь погромовски, и хватит одного взгляда, чтобы сложить два и два.

А в фонде кто-то двадцать лет прячет за добрым именем несходящиеся цифры — и знает про мальчика раньше, чем его узнаёт отец.

Второй шанс не выдают по заявлению — его собирают по строчке. И самую важную бумагу в жизни нельзя подписывать не глядя.

Третья книга о семье Громовых. Читается как самостоятельная история.

Содержание

Глава 1. Попечитель	5
Глава 2. Пункт девятый	19
Глава 3. Аудит	32
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Алина Веснина

Тайный наследник

миллиардера

Глава 1. Попечитель

Грант нам одобрили в четверг, а в пятницу я узнала, кто именно приедет его вручать.

Четверг из-за этого не стал хуже. Четверг вообще был лучшим днём за последние полгода: я стояла посреди нашей раздевалки, между двадцатью шкафчиками с наклейками — кит, ракета, морковка, снова кит, потому что киты в этом году шли хорошо, — прижимала к груди телефон с письмом от фонда и позволяла себе не дышать. «Ваша заявка поддержана. Размер гранта — согласно смете. Куратор программы свяжется с вами для подписания договора». Согласно смете. Три слова, ради которых я четыре месяца не спала: смета у меня была честная до копейки, а честные сметы, как известно, выглядят подозрительно.

— Ну? — спросила Марина Львовна из дверей кухни. Она держала поднос с двадцатью кружками какао, и по тому, как поднос не дрожал, я поняла: она уже всё прочла по моему

лицу, просто хотела услышать.

— Дали, — сказала я. — Целиком.

Марина Львовна поставила поднос, сняла очки, протёрла их подолом фартука — жест, который у неё означал высшую степень чувств, — и сказала:

— Значит, крышу перекроем до дождей.

Вот и всё празднование. Мы обе не умеем радоваться долго: жизнь приучила радоваться быстро, между делами, пока никто не отнял.

Центр у нас маленький. Первый этаж бывшего ведомственного садика на окраине, длинный коридор, три группы, зал с пианино, на котором не хватает двух клавиш, и двор с каштаном. Вывеска — «Светлячок», и это не сентиментальность, а метод: каждый вечер, когда родители забирают детей, мы выключаем в зале свет и раздаём маленькие фонарики, и каждый ребёнок «зажигает» свой светлячок и говорит одну хорошую вещь про сегодня. Одну, любую, самую крошечную. «Я доел кашу». «Меня не забрали последним». «Тёма со мной поделился». Психолог из меня по диплому никакой, я экономист, но за три года я поняла про людей больше, чем за всю жизнь до того: человеку, чтобы выжить, нужна одна хорошая вещь в день. Всего одна. Дальше он справится.

В пятницу утром позвонили из фонда.

— Надежда Викторовна? — Голос был молодой, вежливый, из тех, что читают по бумажке. — Фонд «Первый шаг». Подписание договора в понедельник, в одиннадцать, у вас на

объекте. Приедет куратор программы.

— Замечательно, — сказала я. — Как зовут куратора? Мне для пропуска... то есть у нас нет пропусков, у нас домофон. Мне для какао.

Пауза в трубке была короткая, но я её услышала.

— Куратор программы — Глеб Аркадьевич Громов, — сказал голос. — Управляющий фондом.

Я стояла в коридоре, между стендом «Наши руки не для скуки» и огнетушителем, и держала трубку возле уха ещё секунд десять после того, как там попрощались.

Есть фамилии, которые ничего не значат. А есть фамилии, которые весят. Эта весила четыре года, один вокзал, одну порванную пачку денег и одну жизнь размером восемьдесят девять сантиметров, которая сейчас, в эту самую минуту, лепила в младшей группе ёжика из пластилина и высовывала от старания язык.

Я досчитала до десяти. Потом до двадцати. На тридцати пришла Марина Львовна, посмотрела на меня и увела к себе в методкабинет, где пахнет клеем и валерьянкой, причём валерьянка там не для детей.

— Кто? — спросила она.

— Громов, — сказала я. — Куратор. Лично.

Она долго молчала. Она единственный человек на свете, который знает всё, — не потому, что я сильная, а потому, что четыре года назад у меня не было выбора, кроме как рассказать хоть кому-то, иначе бы я треснула по шву.

— Который? — спросила она наконец. — Их там трое.

— Тот самый, Марина Львовна. Младший.

Она сняла очки. Протёрла. Надела.

— Откажемся от гранта?

Я посмотрела в окно. Во дворе под каштаном Юля из старшей группы учила двух младших прыгать в классики, и у неё не получалось объяснить, почему на «небо» надо на одной ноге, и она объясняла: «Потому что так честно». Крыша над ними была латана в четырёх местах, и я знала цену каждой латке, потому что торговалась за каждую сама. Аренда у нас до сентября. Смета висела на мне, на честном слове и на этом гранте.

— Нет, — сказала я. — Не откажемся. Это деньги не мне. Это деньги крыше.

— А ты?

— А я выдержу сорок минут вежливости. Я четыре года выдерживаю.

Марина Львовна убрала валерьянку в шкаф, не предложив мне, и это был знак высшего доверия.

— Сашу в понедельник поставлю на прогулку с первой подгруппой, — сказала она буднично, не глядя. — С десяти до половины первого. Воздух полезен.

Мы встретились глазами. Вот за это я её люблю: она делает страшные вещи спокойными руками.

— Спасибо, — сказала я.

— Не за что, — ответила она. — Крыша важнее биогра-

фии.

Понедельник наступил так, как наступают понедельники, которых боишься: сразу. Я надела серое платье, которое называю «переговорным», собрала волосы, отняла у себя же половину помады и в десять сорок стояла в зале, где мы сдвинули два детских стола и накрыли их скатертью, отчего столы приобрели вид торжественный и жалкий одновременно. Договор нам прислали накануне, я прочла его дважды, каждую страницу, каждую сноску. Профессия у меня такая — читать то, что подписываю. Дорого мне однажды обошлась эта профессия.

Они приехали в одиннадцать ноль две. Две машины, из первой — фотограф фонда и девушка с папками, из второй — он.

Я видела его последний раз на перроне Ленинградского вокзала, четыре года назад, из окна отходящего поезда, и он тогда не знал, что я его вижу. За четыре года он стал шире в плечах и суше в лице, дорогой пиджак сидел на нём, как злость — обжато. Он шёл по нашему двору мимо классиков, мимо каштана, и смотрел не по сторонам, а в телефон, и я успела подумать: может, обойдётся, может, он меня не...

Он поднял глаза.

Есть такая детская игра — «замри». Водящий отворачивается, все бегут, водящий оборачивается — все замирают. Мы оба замерли посреди моего двора, как проигравшие, и фотограф фонда, ничего не понимая, сделал первый кадр:

куратор программы и руководитель центра смотрят друг на друга. Хороший, наверное, вышел кадр. Живой.

— Вы, — сказал он.

Не «здравствуйте». Не «Надежда Викторовна». Вы.

— Добро пожаловать в «Светлячок», Глеб Аркадьевич, — сказала я голосом, которым говорю с санэпидстанцией. — Проходите. У нас какао.

Дальше было сорок минут, которые я запомнила кусками, как запоминают аварию. Девушка с папками раскладывала экземпляры договора. Фотограф просил «чуть ближе друг к другу», и мы оба делали шаг в стороны. Марина Львовна вносила какао с достоинством королевской гвардии. Глеб Громов сидел на детском стуле — специально села так, чтобы ему достался детский, мелкая месть, копейка, но своя, — и стул под ним не скрипнул ни разу, потому что даже мебель у меня в центре знала: не время.

Он читал договор так, как читают не договор, а меня. На пункте о целевом расходовании поднял глаза:

— Смета составлена вами лично?

— Да.

— Крыша, пандус, зарплатный фонд на двух специалистов, методические материалы. — Он перелистнул. — Резерв на непредвиденное — три процента. Почему так мало? Обычно закладывают десять.

— Потому что десять — это когда не знаешь, что делаешь, — сказала я. — Я знаю.

— Или когда планируешь, чтобы непредвиденное случилось, — сказал он ровно и посмотрел мне в лицо.

В зале стало тихо. Девушка с папками замерла с ручкой на весу. Она не понимала, что происходит, и понять не могла: на бумаге у нас всё было в первый раз — первый грант, первое знакомство, первый визит куратора. Вся наша история лежала не в этих папках.

— На что вы намекаете, Глеб Аркадьевич? — спросила я очень спокойно.

— Я не намекаю. — Он отложил договор и выровнял его край по краю стола, одним движением, точным, как всё, что он делал. — Я помню, Надежда Викторовна, как вы считаете. У меня хорошая память на цифры.

Вот оно. Четыре года весом в одну фразу, поданную при свидетелях, с вежливой температурой минус тридцать. Он помнил обо мне то, что ему рассказали. Я помнила о нём то, что видела своими глазами: докладную с его подписью, размашистой, с длинной перекладиной у «Г», — подписью человека, который решил, что я воровка, и не задал мне ни одного вопроса. Мы сидели над детской скатертью с корабliками, и между нами лежали две разные правды, и обе были ложью, только я тогда этого ещё не знала.

— Память — полезная вещь, — сказала я. — Особенно когда она полная. Подписываем? У меня в двенадцать музыкальное занятие, дети ждут зал.

Он взял ручку. И тут я совершила ошибку — маленькую,

на полсекунды: я посмотрела, как он подписывает. Быстро. Не глядя. Ручка коснулась бумаги раньше, чем глаза дочитали строку. Он подписывал так же, как четыре года назад, и от этой мелочи у меня вдруг заболело в том месте, которое я считала давно зашитым. Всё у людей меняется — плечи, скулы, должности. Подпись не меняется.

— Что-то не так? — спросил он, поймав мой взгляд.

— Всё так, — сказала я. — Вы подписываете не глядя. Профессиональная привычка?

Я сказала это, чтобы уколоть, наугад, из чистой злости, — и увидела вещь странную: он на мгновение остановился. Не смутился, нет, люди его породы не смущаются на людях. Просто рука с ручкой замерла над второй страницей, и что-то прошло по лицу — тень тени, — и исчезло.

— У меня хорошие юристы, — сказал он и подписал вторую страницу. Глядя.

Потом были подписи, печати, протокольные кадры у стенда, где фотограф всё-таки поставил нас рядом, и я улыбалась так, что назавтра болели щёки, и девушка с папками говорила про «отчётность раз в квартал», и я кивала. В четверть первого всё кончилось. Они пошли к машинам. Я стояла на крыльце, держала в руках свой экземпляр договора — синяя папка, тёплая от солнца, крыша, пандус, два специалиста, — и уже почти верила, что выдержала, что дальше будут только бумаги, отчёты, квартальные цифры, а цифры я умею.

У самой машины он остановился. Постоял. И вернулся —

один, без свиты, через весь двор, мимо классиков, и остановился на нижней ступеньке крыльца, так что глаза наши оказались вровень.

— Один вопрос, — сказал он негромко. — Без протокола.

— Слушаю.

— Почему сюда? — Он повёл подбородком на облупленный фасад, на каштан, на нарисованного возле двери светлячка с толстыми боками. — С вашими способностями к учёту — детский сад на окраине. Это что, — он искал слово, — епитимья?

Я смотрела на него и думала: вот стоит человек, который однажды уже вынес мне приговор заочно, не спросив. И сейчас спрашивает — тоже не то, о чём надо. Спроси он иначе — «что тогда случилось», «почему ты уехала», «что я пропустил», — может, всё пошло бы по-другому уже в понедельник. Но он спросил как ревизор. И я ответила как ответчица.

— Это дом, Глеб Аркадьевич. Слово из четырёх букв, в отчётности не встречается.

Он кивнул, будто я подтвердила какую-то его внутреннюю цифру. Поднялся на полступеньки ближе. И сказал то, зачем возвращался:

— Со среды в центре будет работать аудит. Полный. Первичка за три года, касса, целевые, договоры подряда. Люди придут мои, не фондовские. — Он помолчал и добавил, тише: — Деньги, которые я вам сегодня подписал, — детские. С этого дня из этого здания без моей визы не выходит ни

один рубль. Я понятно объясняю?

— Более чем, — сказала я. — Приходите со среды. Первичка у меня по годам, по папкам, по числам. Вам понравится.

— Посмотрим, — сказал он и пошёл к машине, а я стояла на крыльце с синей папкой и смотрела ему в спину.

И тут из-за угла, со стороны прогулочной площадки, вывернула первая подгруппа. Четырнадцать человек парами, в панамках, Марина Львовна замыкающей, — они возвращались с прогулки на восемь минут раньше, потому что Тёма захотел в туалет, а где один Тёма, там и все. Они прошли через двор шумной гусеницей, в трёх метрах от чужой чёрной машины, и один маленький человек в панамке с китом обернулся на блестящий бок этой машины и посмотрел на неё с чистым инженерным восторгом, и сказал громко, на весь двор:

— Мама! Смотри, какая!

Глеб Громов уже сидел внутри и застёгивал ремень. Он не услышал. Не увидел. Стекло у таких машин тёмное.

Машина тронулась, мягко объехала лужу и ушла за ворота. А я стояла на крыльце и держала папку так, что побелели пальцы, и Марина Львовна, проведя детей, встала рядом и сказала одними губами:

— Всё?

— Нет, — сказала я. — Со среды аудит. Полный. Его люди.

Марина Львовна посмотрела на ворота, потом на меня, потом туда, где в раздевалке стягивал панамку мой сын — три года и два месяца, восемьдесят девять сантиметров, глаза отцовские, привычка хмуриться дедовская, хотя деда он не видел ни разу, — и сказала фразу, с которой, если по-честному, и началась вся эта книга:

— Значит, так, Надежда. Крышу мы перекроем. А вот что мы будем делать с небом — думай.

Вечером был ритуал.

В шесть, когда за последними приходят родители, мы гасим в зале свет, задёргиваем шторы, и я раздаю фонарики из корзины. Двадцать маленьких жёлтых фонариков, по числу оставшихся, — кого забирают раньше, тот зажигает свой светлячок утром, авансом, у нас с этим строго. Дети садятся в круг на подушки, в темноте, и по очереди нажимают кнопку, и в зале один за другим загораются тёплые точки, и каждый говорит свою одну хорошую вещь.

— Я не плакал на прививке, — сказал Тёма, и все выдержали уважительную паузу, потому что прививка была в прошлый четверг, но такие вещи не устаревают.

— Меня Юля взяла на небо, — сказала Соня-маленькая, имея в виду классики.

— Я доела всё, и добавку, и Тёмину, — сказала Василиса, наш человек-праздник.

Саша сидел напротив меня, третий слева, и вертел фонарик в руках, не зажигая, — он всегда тянет до последнего,

копит. Наконец нажал. Жёлтый свет лёг снизу на круглое лицо, на отцовскую линию бровей, которую я старательно не замечаю по семь раз на дню.

— Я видел машину, — сказал он. — Большую. Чёрную. Она блестела вся, даже снизу. Даже колёса.

— Хорошая вещь, — подтвердила я, потому что у нас правило: хорошие вещи не обсуждаются и не оцениваются, какая есть — такая есть.

— Когда я вырасту, — добавил Саша, подумав, — у меня будет такая. Я буду возить всех. И собаку.

— Протокольно зафиксировано, — сказала Марина Львовна из своего угла, и дети засмеялись, хотя слова не поняли, — у неё такой голос, что смешно от интонации.

Потом фонарики погасли, зажёгся свет, родители разобрали своих, и центр опустел, как опустевает только детское место — сразу и гулко. Саша уснул у меня в кабинете на диванчике, не дождавшись, пока я закрою смену: день на воздухе, ёжик из пластилина, чёрная машина — насыщенная жизнь у человека. Я перенесла его в наше «служебное» кресло-переноску, укрыла пледом с корабликами и села за стол.

До полуночи я делала то, что умею лучше всего на свете: приводила бумаги в боевое состояние. Первичка у меня и правда по годам и по папкам — но одно дело порядок для себя, и другое — порядок под чужие руки, которые придут искать не порядок, а дыру. Я прошла кассу за три года. Целевые. Договоры с кровельщиками, с поставщиком питания,

с настройщиком пианино, которому мы платим раз в год восемь тысяч и который каждый раз говорит, что наше пианино держится на честном слове и педали. Всё сходилось. Всё всегда у меня сходится — с той самой осени я живу так, чтобы сходилось до копейки, потому что один раз в жизни мне уже объяснили, что бывает с теми, за кого цифры говорят чужие люди.

В половине первого я открыла нижний ящик стола. Там, под коробкой с запасными шнурками, скотчем и ключами от старого замка, лежит серая папка, которую я не открывала два года. Я знаю её содержимое наизусть, но иногда надо не помнить, а видеть.

Сверху лежало письмо. Обыкновенный лист, шапка фонда «Первый шаг», исходящий номер, дата — три года и десять месяцев назад. Я тогда написала в фонд одно-единственное письмо — не жалобу, не претензию, просто три абзаца и одну просьбу: передать лично. Я писала его неделю. Ответ пришёл через четыре дня, и он был длиной в шесть строк.

«Ваше обращение рассмотрено. Оснований для передачи корреспонденции адресату не установлено. Напоминаем, что при расторжении трудового договора вами были даны обязательства, предусмотренные соглашением о неразглашении. По поручению Г. А. Громова — Л. Гурский».

По поручению. Два слова, которые четыре года стояли между мной и всем остальным. Я тогда прочла их как приго-

вор второй инстанции: первый раз он подписал докладную, второй раз — поручил ответить. Дважды один и тот же человек сказал мне «нет», и второго раза я ему не простила, потому что ко второму разу у меня уже было кому не спать по ночам.

Я сидела в жёлтом свете настольной лампы, смотрела на эти шесть строк и слушала, как в кресле сопит восемьдесят девять сантиметров его фамилии, не записанной ни в одном документе. В свидетельстве о рождении, в графе «отец», у меня стоит прочерк. Самый честный прочерк в моей жизни: я не скрыла отца от сына — я скрыла сына от системы, которая однажды показала мне, что она делает с людьми моего размера.

Со среды эта система приходила ко мне сама. С аудитом. С его подписью на приказе.

Я убрала письмо, закрыла ящик, повернула ключ.

— Ничего, — сказала я вслух, тихо, в пустом кабинете, и сама не поняла кому: то ли спящему сыну, то ли себе, то ли светлячку на двери. — Мы и не такое считали.

Врала, конечно. Такое я ещё не считала никогда.

Глава 2. Пункт девятый

Аудит приехал в среду, в девять ноль-ноль, и выглядел как два ноутбука на ножках.

Молодой человек и женщина постарше, оба в сером, оба с одинаковыми рюкзаками, представились Антоном и Ольгой Петровной, отказались от какао — первым в истории центра отказались от какао Марины Львовны — и заняли методкабинет, разложившись там с аккуратностью сапёров. К десяти они уже попросили кассовую книгу за позапрошлый год, банковские выписки, договор аренды и, отдельным пунктом, «документы по питанию, включая накладные на яблоки». На яблоках Марина Львовна дрогнула лицом, но выдержала.

— Яблоки у нас со своего поставщика, — сказала я, выкладывая папки. — Фермерское хозяйство «Заря», Ступинский район. Накладные по числам, оплата безналом, сертификаты в конце папки.

— Спасибо, — сказала Ольга Петровна нейтрально, как автоответчик.

— Если найдёте, где я украла, — добавила я, не удержавшись, — покажите мне первой. Я четыре года ищу.

Молодой Антон поднял голову и посмотрел на меня с живым человеческим интересом, но Ольга Петровна включила калькулятор, и интерес погас по соображениям служебной

дисциплины.

Сам он приехал после обеда.

Без предупреждения — я узнала об этом по тому, как во дворе стало тихо: наша нянечка Зоя Ивановна перестала греметь вёдрами. Он прошёл в методкабинет, полчаса сидел с аудиторами, потом появился в дверях моего кабинета — без стука, но с паузой, что при его воспитании, видимо, считалось компромиссом.

— У вас найдётся десять минут?

— У меня тихий час, — сказала я. — Самое громкое время суток. Садитесь.

Он сел напротив, на стул для родителей, — в этот раз взрослый, я решила не мельчить, — и положил на стол тонкую папку. Я уже знала этот жест. У людей, которые приходят с бумагой, бумага — вместо слов.

— Дополнительное соглашение к договору гранта, — сказал он. — Стандартное для программ фонда с личным кураторством. Прочтите.

Я прочла. Вслух — есть у меня такая манера, выработанная годами: то, что подписываешь, произнести губами, чтобы бумага услышала себя со стороны и устыдилась, если есть чего. Пункты с первого по восьмой были обычной уставной водой: отчётность, доступ к документации, право посещения объекта. На девятом я остановилась.

— «Стороны подтверждают, что взаимодействие в рамках программы носит исключительно деловой характер. По-

печитель и должностные лица грантополучателя не вступают в личные отношения; нарушение настоящего пункта является основанием для расторжения договора и возврата средств гранта в полном объёме». — Я подняла глаза. — Пункт девятый. Это что?

— Это политика фонда.

— Это чья формулировка?

— Юридического департамента.

— А инициатива чья? — спросила я. — Юридические департаменты не пишут про личные отношения сами. Им кто-то диктует страх, они переводят его на канцелярский.

Он смотрел на меня секунды три. У него глаза тёмные, а когда он злится — я это ещё тогда выучила, четыре года назад, в другой жизни, — они не темнеют, а останавливаются, как вода перед морозом.

— Формулировку предложил советник попечительского совета, — сказал он наконец. — После одного случая в региональной программе. Вас что-то не устраивает по существу?

— По существу — нет. — Я взяла ручку. — Личные отношения с вами, Глеб Аркадьевич, не входят в мою смету. Там резерв три процента, вы же видели. На вас не хватит.

И подписала. Читая. Каждую строчку, нарочито медленно, с чувством, — и он смотрел, как я подписываю, так же внимательно, как я в понедельник смотрела на него. Мы оба уже что-то подозревали про эти наши взаимные взгляды на подписи, но ни один не знал — что.

— Аудиторы говорят, у вас образцовая первичка, — сказал он, убирая папку. — Ольга Петровна за девять лет работы хвалила троих. Вы вторая.

— Передайте ей, что какао остаётся в силе.

— Они говорят, — продолжил он ровно, — что так не бывает. Что порядок такой степени — это либо святость, либо подготовка. Либо человек ничего не берёт, либо очень хорошо знает, как берут.

— А вы как думаете?

Вопрос выскочил сам, раньше, чем я успела его удержать. Зря. Мне нельзя было спрашивать, что он думает, — мне с его «думает» жить потом неделю. Он встал, одёрнул пиджак и ответил, глядя не на меня, а на стену, где висят детские рисунки на тему «моя семья» — двадцать листов, солнце, мамы, собаки, у кого-то папа с портфелем, у кого-то без.

— Я думаю, что цифры не врут, — сказал он. — Люди врут. Цифры — нет. Ваши цифры мне нравятся, Надежда Викторовна. Это вас мне не удалось тогда посчитать.

Он ушёл, а я осталась сидеть с ручкой в руке и с бешеным сердцем и минуты две дышала по методике, которой мы учим детей: вдох — понюхай цветок, выдох — задуй свечу. На восьмой свече в дверь просунулась голова Лили — той самой девушки с папками из фонда: она приезжала с аудиторами «для протокола» и весь день просидела в коридоре на детской скамейке, откуда безуспешно пыталась встать без посторонней помощи.

— Надежда Викторовна, можно я у вас зарядку возьму?
— Она потрясла телефоном. — Умер совсем.

Зарядку она взяла, а заодно — стул, какао, которое ей всё-таки всучила Марина Львовна, и полчаса моей жизни, о чём я ни разу не пожалела, потому что Лиля оказалась из людей, которые не умеют носить информацию молча: она ею делится, как температурой.

— Вы не думайте, что он такой всегда, — сказала она, дуя на какао. — Он полгода как у нас. Его совет назначил. Ну, то есть как совет... — Она оглянулась на дверь и понизила голос до шёпота, которым можно созывать собрания: — Все же знают. Аркадий Аркадьевич условие поставил. Год руководит фондом лично — тогда всё по завещанию как было. А не выдержит год — его доля в холдинге в фонд уходит. Насовсем. У нас юротдел это соглашение месяц писал, я сама сшивала, там печать на каждой странице.

— Странное условие, — сказала я осторожно.

— Все так сказали! — обрадовалась Лиля. — А Аркадий Аркадьевич сказал: пусть научится видеть людей, а не позиции в отчёте. Это при всех было, на совете. Глеб Аркадьевич встал и вышел. Потом вернулся и подписал. У него до первого августа год кончается. Он поэтому такой... — она искала слово и нашла неожиданно точное: — считающий. Ему нельзя ошибиться. Ему все смотрят в спину.

— А до него фондом кто руководил?

— Так Леонид Маркович же. — Лиля посмотрела на меня

с удивлением, как на человека, не знающего про смену времён года. — Гурский. Он теперь советник попечительского совета, но он же душа фонда, он его с Громовой-старшей ещё создавал, с покойной. Его все обожают. Он знаете какой? Он на каждом празднике каждого ребёнка по имени. Журналисты его «совестью списка Форбс» называют. Ой. — Она прикрыла рот. — Мне нельзя «Форбс», у нас с иностранными названиями строго...

Я кивала, подливала ей какао и держала лицо. Про то, какой Леонид Маркович, у меня было своё мнение, четырёхлетней выдержки, очень личное. И пока Лиля щебетала про «совесть списка», у меня в голове, отдельно от лица, работал мой внутренний калькулятор, и сходилось у него плохо. Условие завещания. Год до первого августа. Фонд, в котором «душа» — не тот, кто подписывает. И аудит, который младший Громов зачем-то начал не с чистых программ, а с маленького центра на окраине, куда его никто не звал.

Либо он мстил мне лично — это укладывалось.

Либо он искал что-то, о чём сам ещё не знал, — и вот это не укладывалось совсем.

В пятницу случилось то, из-за чего я потом не спала две ночи.

В одиннадцать утра во двор въехала машина — не чёрная, серебристая, мягкая, как реклама пенсионного фонда, — и из неё вышел Леонид Маркович Гурский собственной персоной: светлый пиджак, седина благородная, улыбка на пол-

двора, в руках — огромная коробка с логотипом игрушечной фирмы. За ним фотограф. Не наш аудиторский, другой, свой, — Гурский без фотографа не выходит даже из лифта.

— Друзья мои! — сказал он от ворот, разводя руки, как дирижёр. — А где тут у нас светлячки?

Дети как раз выходили на прогулку, и через минуту он уже сидел на корточках посреди двора, раздавал из коробки жёлтых плюшевых светляков — где он их достал за три дня, вопрос отдельный, — и спрашивал у Василисы, как её зовут, и повторял: «Василиса! Царское имя!» — и Василиса сияла, и все сияли, и фотограф работал, и Зоя Ивановна утирала глаза краем платка, потому что «вот же душевный человек».

Я стояла на крыльце. Я не могла уйти — я руководитель, ко мне приехал советник попечительского совета фонда, который только что дал нам деньги на крышу. И я не могла стоять — потому что ноги у меня были не мои, и руки не мои, и в ушах шумело так, что двор доносился как сквозь воду. Четыре года назад этот человек положил передо мной лист бумаги и ручку и продиктовал мне моё собственное заявление, глядя добрыми глазами, тем же голосом, которым сейчас говорил «царское имя». Я помнила запах его кабинета — кожа и ваниль, у него там стояла вазочка с сушками. Я помнила, как он сказал: «Деточка, ну зачем вам война с целым фондом. Вы же понимаете, чья это будет война — Марины Львовны. У неё интернат, у неё проверка не пройдена, у неё возраст. Пишите, деточка. Я продиктую, чтобы у вас

рука не дрожала».

Он поднялся с корточек, отряхнул колени, обвёл двор сияющим взглядом — и увидел меня.

Ни одна мышца у него не дрогнула. Вот что самое страшное в этих людях: у них лицо не проговаривается никогда. Он пошёл ко мне через двор, раскрывая руки издалека, и сказал громко, для всех:

— Надежда Викторовна! Голубушка! Так это ваш «Светлячок»? А я смотрю на заявку — почерк знакомый! Смета — песня, ни одной лишней строчки! Узнаю школу, узнаю!

Он взял мои руки в свои — тёплые, мягкие, сухие — и сжал, и наклонился ближе, продолжая улыбаться на камеру, и сказал тихо-тихо, на выдохе, только мне:

— Какая вы молодец, что тихонечко. Умница, что тихонечко. Так и живём, да?

И отпустил, и повернулся к фотографу, и стал говорить про системную поддержку малых форм дошкольного образования.

Я не помню, как досидела до конца визита. Помню кусками: он хвалил пандус, которого ещё нет, — «заложен в смету, видел, одобряю»; он передал «поклон вашему великолепному методисту» Марине Львовне, которая вышла, встала в дверях и не подала ему руки, сославшись на тесто; он что-то писал в нашей гостевой книге размашисто, с наклоном. Уже у машины, натягивая перчатку — в июне, — он обернулся:

— А куратор ваш где же? Глеб Аркадьевич? Такой проект,

такие люди — а он вас аудитом мучает, слышал. Молодость, голубушка, молодость. Всё им цифры. Мы-то с вами знаем: главное — не цифры. Главное — доброе имя.

Серебристая машина выехала за ворота. Дети во дворе обнимали плюшевых светляков. Фотограф уже выкладывал кадры куда-то, где у фонда живёт отчётность о добре.

А я стояла и смотрела на свои руки, которые он пожимал, и у меня было одно желание — вымыть их с хозяйственным мылом, как после инфекционного отделения.

— Надежда Викторовна.

Я обернулась. У крыльца стоял Глеб Громов. Я не слышала, когда он приехал, — оказывается, его машина уже минут десять стояла за воротами: он привёз аудиторам какие-то реестры и всю сцену прощания видел от начала до конца.

Он смотрел на меня не как ревизор. Он смотрел, как смотрит человек, который только что видел фокус и не может понять, в каком месте его обманули. Взгляд его прошёл по мне сверху вниз — лицо, руки, которые я, не замечая, вытирала о платье, — и что-то в этом взгляде щёлкнуло и перестроилось, как перещёлкивается вагонная стрелка.

— Вы боитесь его, — сказал он. Не спросил.

— С чего вы взяли?

— С того, что вас невозможно испугать аудитом, — сказал он медленно, продолжая на меня смотреть. — Я пробовал. А сейчас вы стояли посреди собственного двора, как чужая. Весь визит. Одиннадцать минут. — Он помолчал. — Я

считал.

Я могла соврать. У меня было готово четыре версии, все проверенные годами: голова болит, давление, не выпалась, личное. Но врать человеку, который считает секунды чужого страха, — это профессиональный риск, а я рисковать не имею права: у меня в младшей группе спит моя главная тайна, и любая ниточка, за которую он потянет, ведёт в одно и то же место.

— Устала, — сказала я. — Конец недели. И я не люблю фотографов: они снимают детей, а согласия подписывала я, и я потом неделю проверяю, куда эти кадры уехали.

Он выдержал мою версию, как выдерживают чек: посмотрел на просвет.

— Согласия, — повторил он. — Хорошо. Я скажу, чтобы кадры сегодняшнего визита не публиковали без вашей визы.

— Спасибо.

— Это не любезность. Это порядок. — Он отдал мне папку с реестрами и пошёл к воротам, но на полдороге остановился и сказал, не оборачиваясь, в пространство двора: — Одиннадцать минут — это долго, Надежда Викторовна. За одиннадцать минут можно испугаться три раза и два раза перестать. Вы не переставали ни разу.

И уехал. А я осталась стоять с реестрами, и с руками, которые пахли чужим одеколоном, и с ощущением, что меня только что посчитали дважды: один — тот, кто знал обо мне всё и делал вид, что гладит; и второй — тот, кто не знал обо

мне ничего и впервые смотрел не в цифры.

Вечером, после ритуала, случилась история с плюшевым светляком.

Саша не расставался с ним с обеда: жёлтое пузо, глаза-пуговицы, бирка с логотипом фирмы. Он посадил его рядом с собой на подушку, и на ужине рядом с тарелкой, и в раздевалке совал его в рукав куртки, чтобы тот «не замёрз». А я смотрела на эту жёлтую плюшевую радость и ничего не могла с собой сделать: я видела руки, которые достали его из коробки. Тёплые, мягкие, сухие.

— Зайчонок, — сказала я дома, когда он укладывал светляка на подушку. — Давай он поживёт на полке? Смотри, у него бирку не срезали. Он ещё магазинный. Ему надо привыкнуть.

Саша посмотрел на меня долгим взглядом. У трёхлетних есть такой взгляд — насквозь, без скидок, они его потом теряют, когда научаются вежливости.

— Ты его не любишь, — сказал он. Не спросил. Господи, подумала я, второй за день.

— Я его не знаю, — сказала я честно. — Я осторожная. Ты же знаешь маму.

— Ты осторожная, — согласился он и подвинул светляка к стене, а сам лёг с краю, загородив. — А я смелый. Я буду его знать.

И уснул за четыре минуты, обнимая плюшевого шпиона, а я сидела рядом на полу, гладила сына по отцовским бровям

и думала, что вот так это и работает, вот так они и заходят — не через дверь, через двор: с коробкой, с «царским именем», с поклонами. И что сын у меня действительно смелый. Смелый, доверчивый и по документам — только мой, и никакая сила в мире не должна дознаться, что это не вся правда.

В субботу мы с Мариной Львовной пришли в центр к де-вяти — по субботам у нас уборка и «час без детей», святое время, когда можно двигать шкафы и говорить громко. Она мыла зал, я разбирала гостевую книгу: после визитов положено вносить записи в отчёт, фонд любит «обратную связь стейкхолдеров», прости господи мою канцелярию.

Запись Гурского была на развороте, размашистая, с наклоном вправо, синими чернилами — он пишет настоящей ручкой, это часть образа.

«Дорогие мои светлячки! Спасибо за тепло. У маленьких огоньков — большое будущее, если беречь их от сквозняков. Заходите к нам в фонд — двери всегда открыты. Ваш Л. Гурский».

Я прочла это один раз — и услышала то, что услышал бы любой посторонний: добрый дедушка, конфетная интонация, хоть на открытку. Прочла второй — медленно, его голосом, тем, тихим, на выдохе, — и у меня похолодела спина.

Если беречь от сквозняков.

Заходите к нам в фонд.

Так и живём, да?

— Марина Львовна, — позвала я. Голос сел, пришлось

повторить. Она пришла с шваброй, прочла, сняла очки, протёрла, надела, прочла ещё раз.

— Ну что, — сказала она наконец, спокойно, как говорит только она. — Поздравляю, Надежда. Он тебе написал то же, что и тогда. Слово в слово, только красивее. Сиди тихо — и всем будет светло.

— Зачем? Прошло четыре года. Я молчала четыре года. Зачем ему я?

— Ему не ты. — Она поставила швабру, села напротив, и я вдруг увидела, что она устала — не субботней усталостью, а той, старой, которую мы обе носим с одной и той же осени. — Ему тишина твоя нужна была вчера, нужна сегодня и понадобится завтра. А напоминают про тишину, Наденька, знаешь когда? Когда боятся, что скоро станет шумно. — Она побарабанила пальцами по гостевой книге. — Вот и спроси себя, экономист: что у них там в фонде намечается такое, что он в пятницу, бросив дела, поехал на окраину — гладить по голове женщину, которая молчит четыре года?

Я смотрела на размашистую подпись с наклоном, на «Ваш Л. Гурский», и мой внутренний калькулятор, который никогда не выключается, вдруг сложил всё, что я знала, в одну строчку, и строчка эта мне очень не понравилась.

Аудит. Год до первого августа. Молодой Громов, которому все смотрят в спину.

Гурский приехал не ко мне.

Гурский приехал посмотреть, чем его можно остановить.

Глава 3. Аудит

Аудит закончился во вторник в шестнадцать сорок, и закончился он какао.

Ольга Петровна сама пришла на кухню, встала в дверях с планшетом, посмотрела на Марину Львовну, на кастрюлю, на меня и сказала:

— Если предложение ещё в силе, я бы выпила.

Это была капитуляция, и мы приняли её с почестями: усадили на лучший стул, налили в кружку с жирафом, придвинули сушки. Ольга Петровна пила молча, по-рабочему, потом отставила кружку и сказала то, ради чего приходила:

— За девять лет я хвалила троих. Вы теперь в списке. Акт будет чистый, замечание одно, техническое: авансовые отчёты подшивайте отдельно от кассы, у вас всё вместе, искать неудобно. — Она помолчала и добавила другим голосом, негромко: — Я в таких центрах, как ваш, обычно нахожусь на второй день. Простите за то, что я сейчас скажу, но вы поймите правильно: у вас слишком чисто для человека, которому нечего терять. Так ведут учёт люди, которые знают, что однажды за ними придут. Я не спрашиваю. Я просто тридцать лет этим занимаюсь.

— Авансовые перешью, — сказала я.

Она кивнула, как кивают коллеге, забрала свой серый

рюкзак и молодого Антона и уехала. А я стояла у окна, смотрела, как их машина выворачивает за ворота, и думала: тридцать лет этим занимается — и увидела за три дня то, чего он не увидел за четыре года. Что за мной однажды пришли.

Он появился в четверг. И потом во вторник. И потом в пятницу.

Формально всё называлось «контроль целевого расходования»: мы выбирали подрядчика на крышу, и куратор программы имел право участвовать в отборе. Право он превратил в обязанность: лично отсмотрел три бригады, у первой нашёл в смете задвоенный крепёж, вторую отверг за «гарантию на словах», с третьей два часа торговался в моём кабинете так, что бригадир выходил курить четыре раза, а я сидела в углу со своим экземпляром сметы и испытывала чувство, для которого у меня не было названия: на моих глазах человек выбивал для моей крыши условия, которые я сама не выбила бы никогда, — и делал это с таким лицом, будто мстил лично каждому рублю.

— Вы всегда так? — спросила я, когда бригадир, подписав, ушёл нетвёрдой походкой.

— Как?

— Как будто деньги вас однажды обидели.

Он собирал бумаги в папку и на секунду остановился.

— Деньги никого не обижают, — сказал он. — Они инструмент. Обижают люди, которые прячутся за инструмент. — Он выровнял листы ребром о стол. — Крыша выйдет на

сто сорок тысяч дешевле сметы. Разницу согласуем на пандус, у вас он посчитан по минимуму, перила там нужны с двух сторон. Я видел, как ваша нянечка коляску затаскивает.

И ушёл, не дожидаясь, пока я найду, что ответить. А я осталась сидеть с этим его «видел, как коляску затаскивает» — с фразой человека, который, оказывается, смотрел не только в кассовую книгу.

Так и повелось. Он приезжал по делу, всегда по делу, у него всегда была причина размером с лист бумаги: акт скрытых работ, согласование цвета кровли, подпись на дополнительном соглашении. Дети к нему привыкли мгновенно, как привыкают к дереву во дворе: большое, молчит, не трогает — своё. Зоя Ивановна перестала прятать вёдра. Марина Львовна выдала ему один раз какао без запроса — жест, которым в нашем центре присваивают звание человека.

А я наблюдала одну вещь, которую видела за жизнь считанные разы и которой не доверяла: он оттаивал об наш центр. Незаметно для себя, углами. Задержался на десять минут — посмотреть, как старшая группа запускает бумажные самолётики с крыльца, и один самолётик спикировал ему в плечо, и он поднял его, расправил крыло и запустил обратно, точно, по-мужски, с подкруткой, и старшая группа выдохнула «о-о-о», и он сделал вид, что этого не было. Спросил, почему пианино без двух клавиш, и выслушал историю про настройщика и честное слово с педалью. Прочитал все двадцать листов на стене «моя семья» — я видела из каби-

нета, как он стоит в коридоре и читает детские подписи под рисунками, долго, по очереди, руки за спиной, как в музее.

Вот у этой стены меня и накрыло в первый раз.

Потому что третьим слева в верхнем ряду висел рисунок моего сына. Саша рисует, как все трёхлетки: щедро и по существу. На листе были: я — жёлтые волосы, руки-грабли, улыбка до краёв листа; он сам — маленький, с фонариком; собака, которой у нас нет, но которая присутствует во всех его рисунках как цель в жизни; и в правом верхнем углу — синий человек среди звёзд. Звёзды были подписаны цифрами. Одна, две, три, семь, восемь — в Сашиной личной последовательности, он пока договорился не со всеми числами.

Под рисунком рукой воспитательницы, со слов автора, было выведено: «Моя семья. Мама, я, собака потом. А это папа — он далеко и считает звёзды».

Это моя фраза. Моя, собственная, сочинённая два года назад в один плохой вечер, когда Саша первый раз спросил, где папа, — а у меня в голове было пусто и горячо, и я сказала первое тёплое, что пришло: папа далеко, у него важная работа, он считает звёзды, чтобы все сходились. С тех пор это канон. Папа считает звёзды. Не хуже других пап.

Глеб Громов стоял перед этим рисунком дольше, чем перед остальными. Потом позвал меня — я сделала вид, что шла мимо, — и спросил, кивнув на стену:

— Это чей?

— Группа младшая, — сказала я ровно. — А что?

— Ничего. — Он ещё раз посмотрел на синего человека в звёздах. — Считает звёзды. Странная профессия для папы. Обычно пишут — водитель, строитель.

— Дети не выбирают, что писать. Они говорят как есть.

— Я знаю, — сказал он. — Поэтому и спросил.

И посмотрел на меня. Спокойно, без второго дна — у него не было причин искать второе дно в детском рисунке. Это у меня под ногами было второе дно, и третье, и я стояла на всех трёх сразу и улыбалась дежурной улыбкой руководителя.

— У вас в младшей группе двенадцать человек, — сказал он вдруг. — А рисунков на стене двадцать. Почему?

— Потому что старшие тоже рисовали. Тема общая была, на неделе семьи.

— А. — Он кивнул. И пошёл к выходу, и уже в дверях обернулся: — Кровельщики со следующего понедельника. Детей на той неделе лучше выводить гулять до десяти, потом у них шумный цикл. Я в графике посмотрел.

Он посмотрел в графике шумных циклов. Человек, который управляет фондом с бюджетом в миллиард. Я вернулась в кабинет, села и некоторое время дышала по методике — вдох цветов, выдох свеча, — потому что бояться его было привычно и удобно, а вот это новое, тёплое, что появлялось в груди, когда он подкручивал самолёт, было неудобно и запрещено пунктом девятым, а главное — не имело права на существование по причинам, которым пункт девятый в под-

мётки не годился.

В субботу вечером, уложив Сашу, я достала серую папку второй раз за месяц — чаще, чем за два предыдущих года.

Что я знала о собственном увольнении? Меньше, чем положено знать уволенной, и ровно столько, сколько мне показали. Мне показали докладную: «В ходе выборочной проверки кассовых операций выявлена недостача в размере четырёхсот двенадцати тысяч рублей. Ответственное лицо — бухгалтер Орлова Н. В. Предлагаю расторгнуть трудовой договор без передачи материалов в правоохранительные органы, учитывая репутационные риски фонда». И подпись внизу — размашистую, с длинной перекладной у «Г». Мне дали подержать этот лист в руках. Сфотографировать не дали — да я бы и не догадалась: мне было двадцать два, у меня тряслись руки, и добрый человек в кабинете с ванилью объяснял мне, что будет с Мариной Львовной, если я решу «поднимать шум».

Четыреста двенадцать тысяч. Я эту цифру помню лучше собственного дня рождения. Красивая цифра, убедительная: не круглая — круглым не верят, — не мелкая, не наглая. Цифра, составленная человеком, который понимает в правдоподобии. У меня в кассе в тот месяц не сходилось ноль рублей ноль копеек: я проверяла свою наличность каждый вечер, потому что была младшим бухгалтером на испытательном сроке и тряслась над каждой копеечкой, как над яйцом.

А ещё в папке лежал черновик. Тот самый лист, на котором я под диктовку писала заявление «по собственному» — первый вариант, испорченный: рука у меня всё-таки дрогнула, и я начала слово «прошу» с кляксы, и он поморщился и дал мне чистый лист, а испорченный я машинально скомкала и сунула в карман пальто, и нашла через месяц, в другом городе, когда искала перчатки. Я тогда полчаса сидела на скамейке, разглаживая этот комочек на колене. На лицевой стороне — моя клякса и три моих слова. А на обороте — его почерк, размашистый, с наклоном вправо: этот лист он вырвал из своего блокнота, не глядя. Там был столбик: четыре фамилии, две даты и число — четыреста двенадцать. Написанное его рукой. За неделю до «выборочной проверки», если верить датам рядом.

Четыре года я говорила себе, что это ничего не доказывает. Столбик в блокноте, мало ли. Совпадение, черновик, случайность. Говорила — потому что доказывать было некому и незачем: против «совести списка Форбс» с моим комком из кармана пальто не выходят. Теперь я сидела над этим листом и думала о человеке, который вторую неделю вечерами читает прошитые папки. И о том, что у него хорошая память на цифры.

В пятницу меня вызвали в фонд с квартальным отчётом — первым по гранту.

Фонд «Первый шаг» занимает особняк в переулке за Остоженкой: лепнина, тяжёлая дверь, внутри — светло и

стерильно, на стенах фотографии детей, которым помогли, очень хорошие фотографии, очень много. Я не была здесь четыре года. Я знала это здание наизусть — вон за той дверью я работала, вон там бухгалтерия, вон там, в конце коридора, кабинет с кожей и ванилью. Меня вело по этим коридорам, как ведёт по мосту, под которым один раз тонул.

Отчёт принимала Лиля — расцвела, усадила, налила воды, пересчитала листы. Приняла с первого раза, что в фондовской практике, по её словам, «случается реже высокосного года». А потом, провожая меня по коридору, затормозила у лестницы, огляделась и зашептала своим собранием-шёпотом:

— Надежда Викторовна, я вам скажу, только вы никому. У нас что-то происходит. Глеб Аркадьевич вторую неделю сидит в архиве. Сам! Вечерами! Архивариус наш в ужасе: он личные дела запрашивает, старые, кадровые. Позавчера ваше запросил. — Она сделала круглые глаза. — Я расписывалась в журнале выдачи, я же видела. Ваше, за тот год. Вы не думайте, я не смотрела, что там, оно прошитое...

Дальше она говорила что-то ещё — про то, что Леонид Маркович тоже был в архиве в среду, «просто мимо проходил, у него там подшефные альбомы», — но я уже слушала через воду. Моё личное дело. Прошитое. С докладной, с заявлением, написанным под диктовку, с его собственной подписью, которую он не помнит.

Уходя, я сделала крюк — ноги сами: коридором мимо бух-

галтерии, где я когда-то жила от девяти до шести. Дверь была приоткрыта, внутри всё переставили, только сейф стоял на старом месте, наш ветеран с заедающей ручкой. За моим бывшим столом сидела незнакомая девочка и грызла ручку над оборотной ведомостью, и я чуть не сказала ей с порога, что седьмая графа сама себя не заполнит, — но промолчала и пошла дальше, к выходу, мимо архива.

У архива меня окликнули.

— Орлова?

Вера Степановна, архивариус. Постарела, ссохлась, очки на цепочке те же. Она работала в фонде со дня основания и помнила всех, кто когда-либо расписывался в её журнале, — такая память бывает у архивных людей и у обманутых.

— Здравствуйте, Вера Степановна.

Она посмотрела на меня поверх очков, долго, по-архивному, как сверяют копию с оригиналом.

— Похорошела, — вынесла она вердикт. — А ушла тогда — как тень была. Я ещё Гурскому сказала: что ж вы девочку-то так, она же светилась вся, работу любила. А он мне: сердце, говорит, Вера Степановна, не выдержало у человека ответственности. Бывает, говорит, с молодыми.

— Бывает, — сказала я.

— Бывает, — согласилась она и вдруг понизила голос, глядя мимо меня, в коридор: — А только вот что я тебе скажу, раз уж ты сама пришла. Дело твоё на этой неделе два раза выдавали. Молодому — по описи, под роспись, всё как

положено, он до ночи сидел, у меня переработка. А в среду Леонид Маркович заходил. Без описи. Он у нас без описи ходит, ему можно, он тут стены помнит. Постоял у твоей полки. Ничего не взял, я смотрела. — Она поправила очки. — Постоял и ушёл. А я, старая, с тех пор всё думаю: полка-то твоя — что ж на ней стоять-то, на полке твоей, пять минут?

Она развернулась и ушла в свой архив, не прощаясь, как уходят люди, сказавшие ровно то, что собирались, и ни словом больше.

Домой я ехала на автопилоте, забрала Сашу, слушала про то, как Василиса съела чужой полдник и не раскаялась, варила макароны, читала про зайца, который боялся темноты, дважды, потому что «ещё раз, там где он смелый», — и всё это время внутри меня стоял коридор с прошитыми папками, и я ждала. Я не знала чего. Знала только, что человек, который две недели сидит в архиве вечерами, дойдёт до конца любой прошивки: я видела, как он торгуется за крепёж.

Забрала Сашу я последней — единственный минус профессии руководителя: собственный сын вечно уходит из сада последним, из своего же сада. Он сидел в опустевшей раздевалке на скамейке, болтал ногами и вёл со сторожихой бабой Шурой переговоры о судьбах мира.

— А если фонарик утонет, — доносилось из раздевалки, — он потухнет?

— Потухнет, милый.

— А если его достать и посушить?

— Ну, может, и загорится.

— Вот, — сказал Саша с глубоким удовлетворением, как человек, доказавший теорему. — Значит, надо доставать.

Я стояла за дверью и слушала, и мне хотелось одновременно смеяться и плакать, потому что в этом был весь он — и не только он. Значит, надо доставать. Четыре года я жила по противоположному правилу: что утонуло — то утонуло, не ныряй, целее будешь. У моего трёхлетнего сына философия была смелее моей.

По дороге домой он рассказал мне про Василису и чужой полдник — история обрастала подробностями с каждым пересказом и к вечеру уже тянула на сагу, — а потом вдруг, между делом, глядя в окно автобуса:

— Мам. А папа сколько звёзд уже посчитал?

— Много, — сказала я привычно. — Почти все.

— А когда посчитает все?

Автобус вёз нас мимо гаражей, мимо шиномонтажа, мимо всей нашей окраины, и я смотрела на отражение сына в тёмном стекле и впервые за два года не смогла ответить по канону. Канон говорил: тогда и приедет. Я всегда говорила «тогда и приедет», и Саша кивал и жил дальше, ему хватало.

— Скоро, — сказала я. — Он уже близко.

Сказала — и сама испугалась, до холода в пальцах: это не было враньё по канону. Это было правдой по календарю. Он был близко. Ближе, чем когда-либо: через два района отсюда, в пустом здании фонда, наедине с прошитой папкой, в

которой не хватало одного акта.

Дома, пока Саша строил из подушек гараж для будущей машины, я вымыла посуду, развесила его штаны сушиться на батарее, проверила замок на двери дважды — привычка плохих времён, возвращается в плохие вечера, — и села у окна с остывшим чаем. Окраина гасила окна. Где-то за два района отсюда горело, наверное, одно окно в пустом особняке за Остоженкой, и мне очень хотелось не думать о том, какую страницу он сейчас переворачивает. Я честно продержалась до одиннадцати.

Телефон зазвонил в двадцать три семнадцать.

Незнакомый номер, но я поняла сразу — по времени. Так поздно звонят или из больницы, или из прошлого.

— Не разбудил? — Голос был другой, не кураторский. Глухой, на тон ниже. За спиной у него было тихо — очень тихо, как в пустом здании.

— Нет. Слушаю вас, Глеб Аркадьевич.

Пауза была длинной. Я слышала, как он дышит и как где-то там, в его тишине, скрипнуло кресло.

— Я сегодня закончил с вашим личным делом, — сказал он. — Опись, приказы, докладная. Заявление ваше. Всё на месте, всё прошито, комар носа не подточит. Кроме одного. — Снова пауза, и я услышала, как шуршит бумага: он держал это перед собой. — К докладной должен быть подшит акт внутренней ревизии. Основание увольнения, главный документ. Его нет. Вместо него — расписка: «Акт изъят для про-

верки». Дата — через девять дней после вашего увольнения. И подпись. — Он выдохнул. — Две буквы. «Л. Г.»

Я стояла посреди тёмной кухни, прижимая телефон к уху, и молчала. В комнате спал Саша в обнимку с плюшевым светляком. На холодильнике висел рисунок: синий человек считает звёзды.

— Надежда Викторовна, — сказал он тихо. — Я задам один вопрос. Один. И мне нужно, чтобы вы ответили не так, как отвечаете санэпидстанции. Что было в этом акте?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.